Глава 1

Стоит подумать о матери, как перед глазами неизменно встает одна и та же картина: женщина, лежащая на двуспальной кровати, в коконе из тщательно выстроенной тишины. Мама не покидала комнату по несколько месяцев, засев среди простыней, точно вирус; первый раз это случилось еще в моем детстве, второй — когда я пошла в аспирантуру. На время первого кризиса меня отправили к родне в Гану, переждать. Помню, мы с тетей шли по рынку Кеджетия, как она вдруг схватила меня за руку и стала куда-то указывать.

— Гляди, — сказала тетя на родном наречии чви. — Видишь? Сумасшедший.

Мне стало ужасно стыдно. Тетя так громко говорила, а высокий человек с грязными дредами стоял совсем неподалеку.

— Да вижу, вижу, — зашипела я в ответ.

Мужчина прошел мимо, бормоча себе под нос и размахивая руками. Только он сам и понимал, что же это значит. Тетя удовлетворенно кивнула, и мы стали протискиваться дальше сквозь толпы людей на этом кошмарно тесном рынке к прилавку, где проводили остаток утра в попытках сбыть поддельные дизайнерские сумки. За те три месяца, что я там прожила, удалось продать лишь четыре штуки.

Даже теперь, спустя годы, я не до конца понимаю, зачем тетя специально обратила мое внимание на того человека. Может, думала, в Америке сумасшедших нет и я их никогда не видела. А может, вспомнила мою маму и настоящую причину, почему тем летом я торчала в Гане, обливаясь потом за прилавком, пока мать лечилась дома в Алабаме. Мне было одиннадцать, и я видела, что мама не больна — по крайней мере, не так, как, по мнению ребенка, болеют люди. Я не понимала, от чего ей нужно лечиться. Не понимала, но что-то подспудно чувствовала. Это ощущение наложилось на стыд от бестактного поведения тети по отношению к тому мужчине. Она говорила: вот, смотри, как выглядят сумасшедшие. А я взамен слышала мамино имя. Видела мамино лицо, недвижное, точно водная гладь. Вспоминала, как пастор мягко касался ее лба, а тихая молитва наполняла комнату монотонным гулом. Не уверена, знаю ли, как выглядят люди с ментальными расстройствами, но по сей день, слыша «сумасшедший», представляю разделенный надвое экран, где по одну сторону тот мужчина с дредами из Кеджетии, а по другую — мама на своей кровати. И ведь никто, ни единая душа на всем том рынке не обращала внимания на беднягу, не боялась его, не презирала. Лишь моя тетя решила мне его показать. Создавалось впечатление, будто он совершенно умиротворен, вопреки бурной жестикуляции и несвязному бормотанию.

Зато мама, при всей своей внешней неподвижности, переживала внутреннюю бурю.

Глава 2

Когда случился второй кризис, я узнала об этом по телефону в нашей лаборатории при Стэнфорде. Мне как раз пришлось рассадить двух мышей по разным коробкам, а то они начали друг друга драть. Я нашла кусочек плоти в уголке их прежнего домика, но не смогла определить, кто же так пострадал. Обе мыши были в крови и, убегая от меня, метались по коробке, хотя, по сути, бежать им было некуда.

— Послушай, Гифти, она почти месяц не появляется в церкви. Я звонил ей домой, но никто не отвечал. Я иногда заглядываю, проверяю, есть ли у нее еда, но боюсь… боюсь, это снова случилось.

Я ничего не ответила. Мыши практически успокоились, но меня до сих пор трясло от их вида. Я переживала за свой эксперимент. Переживала за все.

— Гифти? — позвал пастор Джон.

— Ей лучше пожить со мной.

Уж не знаю, как пастор посадил маму на самолет. Когда я встретила ее в аэропорту Сан-Франциско, она выглядела совершенно обмякшей и безучастной. Невольно представилось, как пастор Джон уложил ее наподобие того, как сворачивают свитер: скрестил руки на груди, подтянул ноги к животу, аккуратно упаковал в чемодан, наклеил сверху ярлык «Осторожно, хрупкое» и передал стюардессе.

Я крепко обняла маму, но она вся сжалась. Я глубоко вздохнула и спросила:

— Багаж забрала?

— *Daabi*, — ответила она.

— Ясно, багажа нет. Отлично, тогда идем прямиком к машине. — Меня саму так затошнило от собственного приторно-сладкого голоска, что я прикусила язык и сглотнула выступившую на нем кровь.

Мама пошла за мной к моей «Тойоте-Приусу». В иных обстоятельствах мать посмеялась бы над машинкой, ведь сама в Алабаме привыкла ездить на пикапах и внедорожниках. «Гифти, мое кровоточащее сердце», — иногда называла она меня. Не знаю, где мама подцепила эту фразу, полагаю, у пастора Джона или какого-нибудь из телепроповедников, которых она любила смотреть, пока готовила. Возможно, так уничижительно называли людей, которые, как и я, бежали из Алабамы и поселились среди грешников, ведь чрезмерно кровоточащие сердца ослабили нас и не позволили остаться среди стойких избранников Христа в Библейском поясе. Мама также являлась поклонницей Билли Грэма, который любил выдавать сентенции вроде: «Настоящий христианин — это тот, кто может отдать своего домашнего попугая главному сплетнику в городе».

Помню, в детстве я еще думала: как жестоко отдавать кому-то своего попугая, он же к тебе привык!

Забавно, что все такие подцепленные фразочки мама вечно произносила немного неправильно. Я была не просто кровоточащим сердцем, а *ее* кровоточащим сердцем. Не вопиющий поступок, а вопящий. Мама говорила с легким южным акцентом, который оттенял ее родной ганский. Прямо как волосы моей подруги Энн, которые вообще были каштановыми, но на солнце отливали рыжинкой.

Мама села в машину и уставилась в пассажирское окно, тихая, как церковная мышка. Я попыталась посмотреть на все вокруг ее глазами. Когда я впервые приехала в Калифорнию, все казалось таким красивым. Даже трава, пожелтевшая, пожухшая от бесконечной засухи, смотрелась будто не из нашего мира. Наверное, я угодила на Марс, ведь не может же и это быть Америкой? Я вспомнила однообразные зеленые пастбища из своего детства, небольшие холмы, которые мы звали горами. Меня поразили масштабы западного пейзажа. Я приехала в Калифорнию, потому что хотела потеряться и найти себя. В колледже я прочла «Уолден, или Жизнь в лесу», потому что та книга нравилась мальчику, который нравился мне. Помню, ничего в ней не поняла, но повыделяла кучу цитат, в том числе эту: «Пока мы не потеряемся — иными словами, пока мы не потеряем мир, — мы не находим себя и не понимаем, где мы и сколь безграничны наши связи с ним».

Если маму и впечатлил пейзаж, я этого не заметила. Мы ехали в общем потоке, и рядом с нашей машиной пристроилась другая. Ее владелец быстро отвернулся, потом оглянулся на меня и снова отвернулся прочь. Мне почему-то захотелось подействовать ему на нервы или, может, передать часть своей неловкости, поэтому я продолжила пялиться. Мужчина стиснул руль, стараясь больше не оборачиваться. Его побелевшие костяшки перевивали красные жилки. Наконец он сдался, бросил на меня сердитый взгляд и одними губами спросил: «Что?» Я всегда замечала, что движение по мосту подталкивает каждого к его личной грани. Словно водители внутри машин смотрят на воду и задаются вопросом: «А что, если?.. Существует ли другой выход?» Мы снова двинулись вперед. В плотном потоке мужчина был так

близко, буквально руку протяни. Что бы он сделал, если бы мог прикоснуться ко мне? Куда бы выплеснул свою ярость, если бы не приходилось сдерживать ее, сидя в своей «Хонде-Аккорд»?

— Есть хочешь? — спросила я маму, наконец поворачиваясь к ней.

Она пожала плечами, все так же глядя в окно. Во время прошлого кризиса мама потеряла тридцать килограммов за два месяца. Когда я вернулась из Ганы, то с трудом узнала ее, ту самую женщину, что всегда считала худых людей оскорблением природе, как будто какая-то лень или недостаток характера мешали им ценить чистую радость от хорошей пищи. В итоге она сама пополнила их ряды. Щеки ее впали, живот сдулся. Она опустела, исчезла.

Я твердо решила более такого не допускать и купила в сети поваренную книгу по ганской кухне, дабы наверстать те годы, что увиливала от обязанностей по готовке. Еще до приезда мамы я опробовала несколько блюд в надежде набить руку. Купила фритюрницу, хотя студенческий бюджет не предполагал приобретения таких экзотических ингредиентов, как бофрот (ганский пончик) или плантан (разновидность банана). Мама обожала жареную пищу. Ее мать продавала такую с тележки у обочины дороги в Кумаси. Бабушка была из народности фанти[1], родом из рыбацкого городка Абандзе, и славилась своим презрительным отношением к другой народности, ашанти[2]. Ее упрямство доходило до того, что старушка наотрез отказывалась говорить на чви даже после два-

[1] Фа́нти (самоназвание — мфантсе, фанте) — народ, по большей части живущий в Гане между г. Секонди и р. Денсу (ок. 1,8 млн человек), также небольшая часть живет в Либерии. *Здесь и далее прим. пер.*

[2] Аша́нти (ашантийцы; самоназвание — асантефо, асанте — означает «объединяющиеся для войны») — народ группы акан. Живут в центральных районах Ганы (области Ашанти и Бронг-Ахафо).

дцати лет жизни в столице. Покупаешь еду у нее — обязан слушать ее язык.

— Приехали, — сообщила я и поспешила помочь маме выбраться.

Она пошла чуть впереди, хотя никогда прежде не бывала в этой квартире. Мама всего пару раз навещала меня в Калифорнии.

— Прости за бардак, — извинилась я, хотя никакого бардака не было. С моей точки зрения, но ведь я — не она. Каждый раз, стоило маме приехать ко мне домой, она проводила пальцем по вещам, которые мне и в голову не приходило вытирать, — по ламелям жалюзи, по дверным петлям — и подчеркнуто демонстрировала скопившуюся там черную пыль. Мне оставалось лишь пожимать плечами в ответ на обвинения.

— Чистота дома — это благочестие, — любила повторять мама.

«Чистота дома — это почти как благочестие», — хотелось поправить мне, но она бы лишь нахмурилась, мол, какая разница?

Я показала спальню маме, она молча забралась на кровать и погрузилась в сон.

Глава 3

Едва услышав тихое похрапывание, я на цыпочках выбралась из квартиры и пошла проверить своих мышей. И пусть я их рассадила, наиболее пострадавшая корчилась от боли в углу коробки. Судя по всему, долго бедняга не протянет. Мне почему-то стало ужасно грустно, но, когда двадцать минут спустя мой напарник Хан застал меня рыдающей в углу комнаты, стыд не позволил признаться, что причиной слез стала вероятная смерть мыши.

— Паршивое свидание выдалось, — соврала я.

Лицо Хана исказил ужас, но напарник все же выдавил пару слов поддержки. Несложно догадаться, что он при этом думал. «Я пошел в науку не затем, чтобы разбираться с женскими истериками». Мой плач превратился в смех, громкий и хриплый, отчего ужас на лице Хана стал явственнее, а уши запылали, точно красный сигнал светофора. Я оборвала смех, выбежала из лаборатории в уборную и уставилась в зеркало. Покрасневшие опухшие глаза, нос как слива, кожа на ноздрях шелушится после салфеток.

— Возьми себя в руки, — велела я женщине в зеркале, но получилось так ненатурально, словно я воспроизводила сцену из фильма, словно у меня нет «я», за которое можно было бы ухватиться, — или, скорее, целый миллион «я», слишком много, чтобы собрать воедино. Одно

стояло в уборной и играло роль; другое — в лаборатории глядело на раненую мышь — животное, к которому я ничего не испытывала, но чья боль каким-то образом пришибла меня. Или, наоборот, расщепила. Еще одно все еще думало о моей матери.

Мышиная драка так потрясла меня, что я проверяла зверюшек куда чаще, чем следовало. Когда я вернулась в лабораторию, Хан уже был там, оперировал свою мышь. И как обычно, закрутил термостат до минимума. Я поежилась от холода, и напарник поднял голову.

— Привет, — сказал он.

— Привет, — ответила я.

Мы уже месяцами трудились вместе, но дальше обычного приветствия не заходили — кроме того момента, когда Хан застал меня в слезах. Теперь напарник больше мне улыбался, но стоило попытаться завязать беседу, его уши снова вспыхивали красным.

Я проверила мышей, ход эксперимента. Никаких драк, никаких неожиданностей.

Я поехала обратно в квартиру. Мама все так же лежала в спальне под облаком из одеял. С губ ее срывался звук, похожий на мурчание. Я так долго жила одна, что теперь меня нервировал даже этот тихий шум, по громкости не превышавший легкий гул. Я уже и забыла, каково это: жить с мамой, заботиться о ней. Долгое время — на самом деле почти все мои сознательные годы — были только я и она, однако наше сожительство было неестественно. Она это знала, я это знала, и обе мы старались забыть правду — что изначально нас было четверо, а потом трое, двое. Когда мама уйдет, добровольно или нет, останусь я одна.

Глава 6

Мама спала весь день и всю ночь, сутки напролет. Она практически не двигалась. При любой возможности я старалась убедить ее что-нибудь съесть. Стала готовить коко, свое любимое детское блюдо. Мне пришлось обойти три разных магазина, чтобы отыскать нужный сорт проса, подходящую кукурузную шелуху и правильный арахис для посыпки. Надеялась, что уж кашу-то мама проглотит не задумываясь. Утром, перед тем как пойти на работу, я оставила миску у ее постели, но, когда вернулась, поверхность блюда подернулась пленкой, а все, что ниже, так слежалось, что пришлось немало потрудиться, выскабливая кашу в раковину.

Мама всегда лежала ко мне спиной, словно чуяла, когда я войду в комнату с тарелкой коко. Я представила, вот бы кто-нибудь заснял это и сделал монтаж: внизу подстрочником мелькают названия дней недели, но единственное, что меняется в кадре, — моя одежда.

Примерно через пять суток в таком режиме я вошла в комнату, а мама не спала и лежала лицом ко мне.

— Гифти, ты все еще молишься? — спросила она, когда я поставила чашку с коко.

Пожалуй, милосерднее было бы солгать, но милосердие во мне закончилось. А может, никогда и не начиналось. Я смутно припоминала, что в детстве была доброй,

но, вероятно, путала доброту и младенческую невинность. Между мной прежней и нынешней было так мало общего, что казалось бессмысленным выказывать матери чувства вроде милосердия. Разве тогда я его знала?

— Нет, — ответила я.

В детстве я молилась. Читала Библию, вела дневник, где писала письма Богу. Жутко боялась, что их прочитают, поэтому придумала кодовые имена для всех тех, кто, по моему мнению, заслуживал его кары.

Если пролистать этот дневник, становится ясно, что я была из тех ярых христиан, что от души верят в искупительную силу наказания. «Причина, почему они еще не упали и не падают, может быть только одна — не пришло назначенное Богом время. Поэтому и сказано, что, когда оно придет, "нога их поскользнется". Бог не будет больше поддерживать их на скользком месте. Он оставит их одних»[5].

Свою мать я назвала Черной Мамбой — мы в школе как раз проходили пресмыкающихся. Учитель показал нам фильм, где двухметровая змея, похожая на изящную женщину в обтягивающем платье, скользила по пескам Сахары в погоне за кустарниковой белкой.

В ту ночь я записала в своем дневнике:

Дорогой Боже!

Последнее время Черная Мамба со мной очень плохо обходится. Вчера сказала, что, если не приберусь в комнате, никто не захочет на мне жениться.

Брат Нана проходил под кодовым именем Базз. Не помню почему. Поначалу Базз был моим героем:

---

[5] Д. Эдвардс. Грешники в руках разгневанного Бога.

Дорогой Боже!

Базз сегодня бегал к фургончику с мороженым. Себе взял эскимо-ракету, а мне леденец с Флинстоунами.

Или:

Дорогой Боже!

Сегодня в центре отдыха другие ребята не захотели со мной играть в трехногие гонки, мол, я слишком маленькая. А Базз пришел и сказал, что встанет со мной в пару! И знаешь что? Мы победили, и я получила приз.

Временами брат меня донимал, но тогда его промахи были невинными, заурядными.

Дорогой Боже!

Базз вечно вламывается ко мне без стука! Ну сколько можно!

Однако несколько лет спустя мои просьбы о вмешательстве свыше приобрели совсем иной характер.

Дорогой Боже!

Прошлой ночью Базз пришел домой и начал кричать на ЧМ. Я услышала, как она плачет, и спустилась вниз, хотя мне полагалось уже быть в постели (извини). ЧМ попросила Базза не шуметь, а то он меня разбудит, но Базз схватил и разбил телевизор об пол, а потом еще и дыру в стене кулаком пробил. У него начала течь кровь, ЧМ расплакалась, посмотрела вверх и увидела меня. Я побежала к себе, а Базз закричал: «Пошла нахрен отсюда, лошня назойливая!» (А что такое лошня?)

Мне было десять, когда я это записала. Хватало мозгов придумывать условные имена и помечать новые для себя слова, но не хватало, чтобы понять: любой человек при желании с легкостью расшифровал бы мой код. Я прятала дневник под матрасом, но так как мама убиралась повсюду, то наверняка в какой-то момент его нашла. Впрочем, она ни разу об этом не упомянула. После того случая с телевизором мама прибежала ко мне в спальню и заперла дверь, а Нана остался бесчинствовать внизу. Мать прижала меня к себе, поставила нас обеих на колени у кровати и принялась молиться на чви.

Awurade, bɔ me ba barima ho ban. Awurade, bɔ me ba barima ho ban. Боже, спаси моего сына. Боже, спаси моего сына.

— Ты должна молиться, — заявила она мне теперь. Взяла коко, проглотила пару ложек и отставила миску обратно на тумбочку.

— Вкусно? — спросила я.

Мама пожала плечами и вновь повернулась ко мне спиной.

~

Я отправилась в лабораторию. Хана там не было, так что в комнате стояла приемлемая температура. Я повесила куртку на спинку стула, собралась с духом и отловила пару мышей, чтобы подготовить их к операции. Сбрила шерстку с макушек, осторожно просверлила черепа, вытирая кровь, пока не показались ярко-красные мозги. Грызуны лежали под наркозом, их грудные клетки механически расширялись и сдувались.

И пусть я уже миллион раз выполняла подобную процедуру, вид мозга по-прежнему меня завораживал. Даже

если бы я досконально изучила маленький орган внутри крошечной мыши, он все равно не отражал бы всей сложности аналогичного органа в моей собственной голове. И все же мне пришлось постараться понять его работу и перенести это ограниченное понимание на тех из нас, кто составлял вид Homo sapiens, самых сложных животных — единственных животных, кто считал, будто вышел за пределы своего царства, как любил говорить один из моих учителей биологии в старших классах. Эта вера, эта трансцендентность хранилась внутри самого органа. Бесконечная, непознаваемая, одухотворенная, возможно, даже волшебная. Я променяла пятидесятничество своего детства на эту новую религию, этот новый поиск, зная, что никогда ее полностью не постигну.

Я училась в Медицинской школе Стэнфордского университета по специальности «неврология». Мое исследование было посвящено нейронным цепям поведения, связанного с жаждой вознаграждения. Однажды на свидании, еще на первом году обучения в аспирантуре, я изрядно утомила парня, пытаясь объяснить ему, чем же занимаюсь весь день. Он отвел меня в «Тофу-хаус» в Пало-Альто, и, пока сам сражался с палочками для еды, роняя кусочки бульгоги на салфетку на коленях, я рассказывала ему о медиальной префронтальной коре, прилежащем ядре и двухфотонном лазерном микроскопе.

— Мы знаем, что медиальная префронтальная кора играет решающую роль в подавлении импульсов, связанных с жаждой вознаграждения, просто нервная система, которая позволяет это делать, еще мало изучена.

Я встретила его на сайте знакомств. У него были соломенного цвета волосы и постоянно обгоревшая кожа. Такой типичный серфер из Южной Калифорнии. До похода в ресторан мы только переписывались, и я гадала,

не стала ли его первой темнокожей подружкой, не вел ли он список чего-то нового и экзотического, что хотел бы попробовать в жизни, — вроде этого корейского блюда, с которым уже устал мучиться.

— Ха. Как интересно, — протянул парень.

Наверное, ожидал чего-то другого. В моей лаборатории из двадцати восьми сотрудников насчитывалось всего пять женщин, и я была одной из трех чернокожих кандидатов наук во всей медицинской школе. Я сказала серферу, что получаю докторскую степень, но не уточнила, в какой области, потому что не хотела его отпугивать. Нейробиология, возможно, и круто, но вот совсем не сексуально. Добавить сюда еще мой цвет кожи — видимо, это оказалось для него уже чересчур. Он мне так и не перезвонил.

С тех пор на свиданиях я говорила, что моя задача сперва подсадить мышей на кокаин, а потом забрать его у них.

Двое из трех задали один и тот же вопрос: «Так что, получается, у вас там тонна кокаина?» Я так и не созналась, что мы давно заменили кокаин на «Эншур», пищевые добавки. И достать проще, и мыши на него легко подсаживались.

Меня заводило то, что я могу сказать что-то яркое и скандальное этим мужчинам, с большинством из которых разок пересплю и больше никогда не увижусь. Я чувствовала силу, когда их имена возникали на экране моего телефона спустя часы, дни, недели после того, как они увидели меня голой, впились ногтями в мою спину, иногда до крови. Читая их сообщения, я ощущала эти метки. Чувствовала, что в моей власти так и держать их на уровне имен на экране, но через некоторое время они переставали звонить, и тогда я черпала силу в их молча-

нии. По крайней мере, ненадолго. Я не привыкла к доминирующей роли в отношениях, к сексуальности. В старших классах меня никогда не звали на свидание. Ни разу. Я была недостаточно крутой, недостаточно белой, еще какой-нибудь «недостаточной». В колледже вела себя застенчиво и неуклюже, все еще держалась за христианство, которое требовало блюсти чистоту до брака и заставляло меня бояться мужчин и своего тела. «Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела»[6].

— Я же симпатичная, да? — спросила я однажды маму. Мы стояли у зеркала, она красилась на работу. Не помню, сколько именно мне было, но краситься еще не разрешали. Приходилось тайком лазить в косметичку, когда мамы нет дома, — впрочем, задача была несложная. Мама все время работала. Ее никогда не было рядом.

— Это что еще за вопросы? — спросила она, схватила меня за руку и рывком подтянула к зеркалу. — А ну смотри, — велела мама, и впервые мне показалось, что она на меня рассердилась.

Я пыталась отвернуться, но стоило опустить глаза, мать снова меня дергала. Столько раз, что мне казалось, сейчас рука оторвется.

— Смотри, что создал Господь. А теперь смотри, что нарисовала я, — сказала мама на чви.

Долгое время мы гляделись в зеркало. До тех пор, пока у мамы не сработал будильник, сигнал, что пора заканчивать одно дело и приниматься за другое. Она накрасила губы, послала себе в зеркало воздушный поцелуй и побежала на работу. А я так и осталась на месте, глядя на себя и посылая себе поцелуи.

---

[6] Первое послание к Коринфянам 6:18.

~

Мыши медленно приходили в себя, оправляясь от анестезии и обезболивающих. Я ввела вирус в прилежащее ядро и имплантировала линзу в их мозг, чтобы во время экспериментов видеть, как срабатывают нейроны. Иногда я задавалась вопросом, заметили ли зверюшки дополнительный вес в головах, но старалась не развивать подобные мысли, не очеловечивать подопытных, ведь это затруднило бы мне выполнение задачи. Я привела лабораторию в порядок и пошла в кабинет. Предстояло написать работу, по-видимому последнюю перед выпуском. На вычисления, самую сложную часть, обычно уходило несколько недель, но я занималась ерундой, тянула время. Проводила эксперименты снова и снова, пока предстоящая защита не становилась чем-то далеким. Я подумывала повесить плакат над столом, чтобы привести себя в чувство. «ДВАДЦАТЬ МИНУТ В ДЕНЬ НА ДИПЛОМ, ИЛИ...» Или что? Пустая угроза. После двадцати минут рисования закорючек я сдалась и вытащила дневник, который прятала в недрах стола, чтобы читать в те дни, когда уставала от работы, когда чувствовала себя подавленной и одинокой, бесполезной и безнадежной. Или когда возникало желание найти работу, где мне платили бы больше семнадцати тысяч долларов, львиная доля которых уходила на оплату жилья в дорогом студенческом городке.

Дорогой Боже!

У Базза сегодня выпускной, он надел костюм! Ярко-синий с розовым галстуком и платочком. ЧМ пришлось специально его заказывать, ведь Базз очень высокий и в магазине на такой рост ничего не нашлось. Мы весь день его фотографировали, смеялись, обнимались, а ЧМ

плакала и все повторяла: «Ты такой красивый». Потом настало время забирать его девушку. Приехал лимузин, Базз сел туда, высунулся в окно на крыше и помахал нам. Он выглядел совершенно нормально. Пожалуйста, Боже, пусть всегда так и будет.

Три месяца спустя мой брат умер от передозировки героина.